

СМЕХ ЩЕДРИНА

К великому ущербу нашего национального бытия – смех Щедрина до сих пор еще не тронул нас, не встревожил со всей своей силой как не только тронул и встревожил, но и потряс и проник – когда-то – смех Грибоедова, и, в особенности, Гоголя. Или это был смех не такой силы, не такой мучительности? Нет, - и мучительный, и потрясающий. Но мы его до сих пор не слышим. И в оправдание любим ссылаясь на его «временность», на то, что он раздался в свое время не только для своего времени, что он не родился из глубин вечной правды – и не был смехом гениального поэта. И здесь тоже – едва ли не лицемерие. Оценивать таланты мерой гениальности – старая схоластика, которую давно пора забыть. В наш одеревенелый слух (или мы зажимали уши?) – звучал смех, потрясающий, - и мы не дрогнули сравнивали с Гоголем, и оправдывались [кусочек газетного листа оборван]

Бездонными залогами внутри, предвещающими будущее, какого «не может представить себе самое пылкое воображение»!

Да! Только неискоренимое лицемерие и мелкое национальное самообожание одеревенило наш слух для потрясающего щедринского смеха. Мы не слышали его, потому что не хотели – потому что это был самый мучительный из всех какой у нас когда-либо раздался.

«У Салтыкова – длинноты, Салтыков – тягуч, он непонятен без исторических комментариев»... Но если бы мы выбрали одну из огромного числа его страниц, не требующую никаких комментариев, одну – любую, забыв о других – и заучили бы ее наизусть, мы бы знали, наконец, азбуку истинной гражданственности, - и с тем вместе, - правды Божьей!

Грибоедов дал вечные формулы, сверкающие негодованием. Но мы, когда-то встревоженные ими, не осознали их еще и сейчас. Потому что, если бы осознали, то не остались бы равнодушны к Салтыкову. Мы до сих пор готовы мыслить о Грибоедове – по добродушному Гончарову. Усвоили ли мы открытую им правду, что самый неодолимый враг нашей жизни – реакция – не вне нас, не в правительстве, а внутри нас, - что порождения правительства – Фамусовы и Скалозубы жалки, а Молчалины и Загорецкие – страшны?.. А Гоголь? Давно ли мы коснулись его смеха в той стихии его, о которой сам поэт не уставал умолять, чтобы его поняли? – В религиозной – которой значения и последствий ни он сам, и никто не знал в то время. Теперь уже, кажется, знаем, - догадываемся (или все еще нет?), что это стихия – не хранительная, а разрушительная.

Во имя чего отрицали и смеялись – и тот, и другой, - Грибоедов и Гоголь? Во имя того же самого отрицал и смеялся и третий – Салтыков. Чем была для Грибоедова реакция? Злой неправдой. Какой явилась Россия Гоголю – определенная во всем своем быту, правах и вкусах, - реакцией? Сколько бы он ни славославил наш строй, как религиозное учреждение, - противорелигиозной! Злой неправдой! Лицо русского общества – «кривой рожей», а не образом Божиим.

Салтыков, воспитанный в сороковых годах на тех умственных настроениях, которые были настроениями Белинского, Герцена и раннего Достоевского, назвал себя надворным советником Николаем Ивановичем Щедриным, служилым обывателем города Крутогорска – в дни приближавшегося «возрождения». Главное лицо в «Губернских очерках» - не тот или иной из обывателей, но весь город, как у Гоголя в «Ревизоре». Впоследствии Салтыков назвал – реакционную в своей общественной глубине – Россию городом Глуповым. Ожесточение, выразившееся в этом простом – и ужасном по своей простоте – названии пришло позже. Вначале Салтыков способен был оставаться наблюдателем, еще не ожесточившимся, еще добродушным. Но ожесточения было недалеко, но оно сдерживалось – удерживалось в равновесии эпического бытоописания, хотя и раздраженнее, чем у других современников, напр., у Писемского.

«В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу... Есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его»...

Вот начальные слова «Губернских очерков».

[фрагмент страницы оторван] <Чем не> Гоголь в «Старосветских помещиках» или Писемский в «Тюфяке», даже по языку. Однако уже в следующих словах слышится – хотя еще и далекий – гул щедринского смеха – щедринского ожесточения:

«Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что *вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания*»...

Это уже щедринский язык. И особенно в дальнейших жутких словах: «И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, *как будто здесь конец миру*»...

И дальше – все в том же напряжении сдержанности, словно писатель боится открыть свое сердце для ожесточения.

«Боже! Как весело вам, как хорошо и отрадно на этих деревянных тротуарах! Все вас знают, вас любят, вам улыбаются! Вот мелькнули в окно четыре фигуры за четвероугольным столом... вот послышался вам из соседнего дома смех, от которого вдруг упало в груди ваше юное сердце... Вот и гуляющие – все больше женский пол, около которого, как и везде, как комары над болотом, роится молодежь. Эта молодежь иногда казалась вам нестерпимою... Но в этот вечер вы добры. Если бы вам встретился пылкий Трезор, томно виляющий хвостом на бегу за кокеткой Дианкой, вы и тут нашли бы средство отыскать что-то наивное, буколическое».

Русская жизнь в своих крутогорских недрах – верна закону косности, несмотря на все соблазны; и только Петербург тянет к себе, как далекий и мечтательный идеал:

«Очаровательный Петербург!» - восклицают дамы.

«Душка Петербург!» - вздыхают девицы.

«Да, Петербург...» - глубокомысленно отзываются мужчины.

Но недра, конечно, милее, потому что – тише: ведь из петербургского центра описана не дуга движения, а дуга неподвижности!

«...Все-таки, какое же сравнение наш милый, наш добный, наш тихий Крутогорск!

- Душка Крутогорск! – пищит княжна.

- Да, Крутогорск... - отзыается князь, плотоядно улыбаясь»...

Злостные взяточники, притеснители, клеветники – фон того полотна, на котором с нежностью сына влюбленного в мать – в Россию – неподдельную и воистину будущую – Салтыков рисует «богомольцев, странников, острожников»... Россию народную, правдолюбческую, верующую, самоотверженную, человеческую – значит, Божью; насильственно погруженную в неподвижность и безжизненность – «душкой Петербургом» и «душкой Крутогорском».

Крутогорск – «Губернских очерков» и «Невинных рассказов» «милый, добный и тихий» - «душка Крутогорск» превратился для Салтыкова в город Глупов, тотчас же – после приблизившейся эпохи «возрождения». «Возрождения» - по распоряжению начальства, обращенному к взяточникам, насильникам и клеветникам. В «Сатирах в прозе» сатирику уже не достало прежней сдержанности, ожесточение ворвалось в сердце и сдержанный смех обратился в неудержимо злобный, потрясающий... Не потрясший нас лишь потому, что мы заткнули для него уши – и убежали. – Не предполагать же, в самом деле, что у всех нас одеревенели и уши, и сердца?

«Глупов, милый Глупов! Отчего *надрываеться сердце*, отчего *болит душа* при одном упоминовении твоего имени?.. Кажется, и не пригож ты и не слишком умен; нет в тебе ни природы могучей, ни воздуха вольного; нищета да убожество, да дикость, да насилие... *плюнул бы и пошел прочь!* Ах нет, все сердца к тебе несутся, все уста поют хвалу твою... Странная какая-то творится тут штука. *Подойдешь к тебе поближе, вкусишь от винограда твоего – тошнит; чувствуешь, как въяве дураком делаешься; уйдешь от тебя – плачешь:* чувствуешь, что вдруг становишься словно не самим собою. Отчего же несутся к тебе сердца?.. А оттого, милый Глупов, что мы все, сколько нас есть мы все плоть от плоти твоей, кость от костей твоих. Всех-то ты прокормил, всех-то ты воспитал, всех ты напоил от многообильных вод реки Большой Глуповицы»...

Такова наша национальная плоть – говорил «надрывающийся» щедринский смех. Но мы испугались... Отчего же англичане не испугались Свифта? Не сказалась ли здесь застарелая болезнь всей нашей исторической, а не только «современной», *идиллии*!

«Мы не знаем, восходит ли солнце в городах Умнов и Буянов, а в Глупове это тот самый момент, когда по преимуществу сгущаются в жилых покоях ночные звуки?

Какой же выход из сопоставления этих разных городов – для тех, кто взамен понятия: гражданство – давно уже принял менее риторическое – в условиях глуповской истории – понятие: *обывательство*?

Вывод ужасный, не тем, что другого нет и быть не может, - но тем, что он, на самом деле, творится в недрах нашей совести. И – сегодня! Если не отворачиваться трусливо от щедринского смеха, - живого, как будто он раздался сегодня, если не лицемерить, что он весь – в прошлом. Вот этот, слишком знакомый, вывод: Глупов нравится мне всецело, со всеми своими особенностями. Я открыто перед лицом целой вселенной признаю себя гражданином Глупова и ничего-таки не стыжусь, потому что это дело уладили папа и мама, а я только с благодарностью принял его последствия...

...Und ich war in Arkadien geboren!

Да, и я сын Глупова – и я катаюсь как сыр в масле».

Тот вывод, о котором Щедрин говорит этим смехом, единственным по злобе, кроме Свифта, мы и сегодня выдаем за любовь к родине, за русский патриотизм!

Известно, что едва началась «эпоха возрождения» - уже недалек был ее мертвый исход, совершившийся всего через какие-нибудь пять-шесть лет после ее первых надежд. Салтыков стал издеваться над этими надеждами с первой минуты, потому что ни на минуту не поверил в возрождение тех, кто не крестился еще для человеческого, и тем самым – Божьего достоинства.

«Глуповцы спокойно жили доселе в своем горшке и унаваживали дно его. Когда какая-то рука бросила им в горшок кусок черного хлеба, и этого было достаточно для удовлетворения их неприхотливых потреб. Постепенно этот кусок сделался истинным палладиумом глуповских надежд, глуповского величия. В нем одном находили для себя глуповцы источник жизни и силы; он один имел привилегию пробуждать от сна и вызывать к деятельности этих зодчих праздности, этих титанов тунеядства и чревоугодничества...

...Настало другое время, явилась другая рука. Стало казаться странным, что *Божий дар обгаживается самым непозволительным образом*; возникли опасения, что при дальнейшем обгаживании Божий дар может окончательно утратить свой первобытный образ; почувствовалась необходимость, чтобы та же рука, которая бросила правду в горшок, взяла на себя труд и вынуть ее оттуда. Рука явилась и ошпарила глуповцев»...

Вот страшный смех! – уже не «сквозь слезы», - а сухой и жестокий: над русской забитостью в веках, над утратой образа Божия. Смех ожесточения не только над Россией 50-х, 60-х, 70-х годов, но – пора же, наконец, перестать лгать! – надо *всей* Россией, в ее реакционной глубине, в ее крутогорских, в ее глуповских недрах. Пора бесстрашно признать правду щедринского смеха. Какую? Правду ожесточения и злобы?

Не раздражение ли она безумца, - сумасшедшего, как когда-то было объявлено, а за двадцать лет до того пророчески предвосхищено первым засмеявшимся откровенно-зло?

Так мы и мыслим, так мы и поступаем, не слыша щедринского смеха, отворачиваясь от его недоброй правды – и, кутаясь в дырявые патриотические халаты, спокон веков и до сего дня!

Смех Щедрина с той минуты, когда он стал ничем неудержимым, жестоким «сумасшедшим», - перестал, разумеется, быть источником лишь

юмористического жанра. Крутогорск превратился в Глупов – символ реакционной – внутри себя самой – обывательской России. Сатира все шире выходит за пределы обличительного бытоописания и обличительного лиризма, характеризующих обычно всякую сатиру. Она осложняется историческими сопоставлениями и размышлениями. В «Сатирах в прозе», где впервые Крутогорск превращается в Глупов, впервые появляются и ссылки на события исторического прошлого; насмешка над наивным освещением этого прошлого в тогдашней научной истории, - насмешки, разрешившиеся скоро в злейшую «Историю одного города» - того же самого Глупова. «Идиллия» Крутогорская, Глуповская, Головлевская, Пошехонская, Ташкентская – Всероссийская – переживалась Салтыковым не только, как «современная», но, как часть «русской истории – древней и новой». Сатира Салтыкова стала для него самого размышлением о судьбе России, о судьбе русской жизни в ее целом, об ее историческом смысле об ее национальном и общественном достоинстве – от ее зарождения и в перспективе будущего.

«Среда умеренности и аккуратности» - старинная среда Молчалиных и Загорецких – оказывается типом всего русского, всего глуповского и пошехонского бытия. Среда, в которой, как во всякой «растленной» среде, под идиллическим покровом «благонамеренной» Майи, - кроется и глупость, и низость – и, наконец, изуверство: и моральное, и физическое (Головлевы и Ташкентцы).

«Пропала совесть! Потому что пропала правда – человеческая, значит, Божья. Или только забыта?

Смех Щедрина прозвучал в наши, нами же самими заткнутые уши, - ожесточением против нашего нечеловеческого – и не Божьего бытия. Злой против «растлителей». Гневом, в котором жила любовь к будущей России, - Божьей.

Когда мы прочтем Салтыкова, когда мы откроем уши для щедринского смеха и не побоимся его «недоброй» правды, - мы пройдем школу общественной совести, школу, в которую мы уже давно поступили и в которой мы, по слову – еще древнего сатирика, «не хотим учиться!..»

До тех пор не вступить нам в жизнь – человеческую – и не быть в правде Божьей.